

Иван Лукин опубликовал в журнале «Подъём» в апреле 2018 года статью о творческой дружбе писателей-фронтовиков — Евгения Войскунского и Михаила Дудина. Редактируя материал для номера, я удивился тому, с какой деликатностью и уважением автор рисует своих героев. Воспитанный в литературной семье, он изначально чувствовал возрастную и творческую дистанцию между этими именами и своим собственным. И тогда, отметив такое редкое для нынешней литературной молодежи свойство, я подумал, что Ивану стоит пожелать некоей художественной дерзости.

Важно понимать, что художник может сложиться наилучшим образом, когда в нем параллельно растут талант и воля, которая в какой-то степени есть отражение его личности. В Иване Лукине такая воля крепла незаметно для окружающих. И если сегодня мы можем посетовать на то, что он как писатель, кажется, не сложился, то во многом подобные слова будут свидетельством нашей близорукости. Думаю, что Иван Лукин стал человеком во всех отношениях зрелым. Вот только во внешний мир эта его внутренняя полнота драматически не успела отразиться.

Иван погиб в ходе специальной военной операции на Украине в апреле 2022 года. С воинскими почестями похоронили его в подмосковном селе Архангельском.

Сейчас, когда подвиг есть самый главный отпечаток его личности, произведения Ивана Лукина станут звучать уже по-другому. Потому что перед нами предстает пока еще неузнанный молодой русский художник и самоотверженный русский солдат. Эти характеристики хорошо отражают облик Ивана Лукина.

Царство Небесное рабу Божьему Ивану.

А мы будем его помнить. И возвращаться к его прозе, неузнанной только до времени.

Вячеслав ЛЮТЫЙ,
*заместитель главного редактора
журнала «Подъём»*

Серафим проснулся из-за того, что с крыши упал подтаявший на солнце снег.

С трудом оторвав голову от подушки и приподнявшись на кровати, мальчик все же не рискнул спускать ноги на холодный зимнему пол. Наполовину завернувшись в одеяло, он потянулся к широкому креслу у изголовья, на котором лежали несколько книг и аккуратно сложенная одежда, быстро натянул на себя шерстяной свитер и чихнул.

В комнате Серафима было светло. Слепительное зимнее солнце переливалось в крупных сосульках, которые свешивались с козырька крыши до середины широких окон, и весело играло бликами на белых стенах между картин современного художника (его работы отец Серафима уважал). Недалеко от подоконника одного из окон, на яблоне, висела кормушка, вокруг которой велась постоянная красно-коричневая битва между снегирями, воробьями и прочими голодными пернатыми за местечко потеплее и посытнее.

Ярко-рыжий кот с белым галстуком на шее выполз из-под забора с мышью во рту и своим появлением спугнул взлохмаченных птиц около кормушки. Воровато оглядевшись вокруг, он опустил серый комочек шерсти на снег, чуть-чуть тронул его лапой и затаился, ожидая, когда же он побегит. На соседнем участке, за забором, лает собака, видимо чужа дразнящую кошачью породу. Но казалось, что тринадцатилетний мальчик с копной непокорных рыжих волос совсем не замечал всей этой обычной живой красоты, которая сквозь оконные стекла проникала в комнату.

Серафим отодвинул стул и сел за небольшой письменный стол у окна. За стеной опять заплакала младшая сестра. Машу все утро по очереди пытались успокоить приехавшие родственники.

Мальчик взял ручку, вырвал из тетради листок и что-то написал на нем.

В комнату зашла сестра и попросила Серафима собираться и выходить завтракать.

— Ну чего ты?

— Ничего.

Сестра немного постояла за спиной брата, разглядывая с сочувствием его подростковые, худые напряженные плечи, и, тяжело вздохнув, вышла из комнаты.

Серафим поднял голову, задумчиво посмотрел на кота, затем на солнце, несколько раз моргнул и, вдруг решительно зачеркнув написанное, порвал бумагу и вырвал из тетради новый листок.

Уже неделю день ото дня крепчали морозы. Белоснежный, искрящийся на солнце снег протяжно скрипел под ногами нескольких молча идущих людей и почему-то пах свежим арбузом. Серафим двигался позади всех, держа за руку младшую сестру. Другую руку он засунул в карман. Там, заложенное в перчатку, хранилось письмо. В перчатку он его спрятал для верности — так уж точно не потеряется.

В гулкой светлой церкви по углам толпилось много народу. Серафим видел и отмечал много знакомых людей. Некоторые из них подходили к отцу с серьезными скорбными лицами, жали руку, говорили что-то на ухо и отходили. Отец кивал головой, но по большей части просто молчал, покашливая в свою посеребренную черную бороду. Серафим выпустил руку сестры, прошел в центр храма, к отцу, и, внимательно посмотрев, осторожно дотронулся до него.

Вчера — пятничным вечером — уставший Серафим возвращался домой из города, куда он вместе с классом ездил в театр. Мальчик был весел и разгорячен. Но чем ближе электричка приближалась к родным местам, тем тише становился Серафим, холоднее начинали блестеть его глаза.

Ребята вместе с классной руководительницей вышли на четыре остановки раньше — дом Серафима был намного дальше, чем у его одноклассников. Он остался в полупустом вагоне с двумя грузными постоянно шепчущимися и посмеивающимися тетечками на соседних сиденьях, несколькими сурового вида мужчинами с обязательными деловыми чемоданчиками и группой несдержанно гогочущих студентов.

Серафим отвернулся от них и недовольно посмотрел в окно на свое отражение. Мысли вновь нахлынули бесконечным потоком. Он опять начал анализировать прошедшие несколько дней, неожиданную аварию, в которую недавно попала мама, приезд старших сестер, большое количество еды, внезапно появившееся на веранде. Странно, что за праздник без причины?

Несмотря на сильный мороз, на перроне его встречал отец. Вся фигура бывшего военного поражала: высокая и кряжистая, с широкими плечами и спиной, она казалась цельным высеченным монолитом. Выразительному лицу придавали какую-то особую строгость густые черные брови и борода. А седеющие волосы, когда-то бывшие такими же черными, в фонарном свете виделись почти белыми.

Он внимательно оглядел сына, кашлянул в бороду, взял портфель и пошел с Серафимом к машине.

— Ну как съездили?

— Хорошо съездили — весело было.

— А что за постановка была?

— Я же тебе говорил уже, пап! — Возмутился сын от того, что отец не помнил его слова.

— Да? — снова кашлянул он в бороду и добавил: — Гм, точно-точно, припоминаю, ты мне это уже говорил.

Серафим замолчал, возмущенный и немного обиженный тем, что с недавних пор отец совсем перестал интересоваться его личной жизнью, перестал слушать то, чем он делится с ним.

Но заметил вдруг, что тот опять начал прихрамывать на левую ногу и покашливать в бороду чаще обычного, и так до боли в груди стало жалко Серафиму этого родного ему, стареющего, строгого, делового мужчи-

ну, которым так гордился перед сверстниками, что забыл обиду и, снизу вверх взглянув в глаза, сам пошел на контакт:

— Ну, пап, ну чего ты молчишь! Как дела? Мы завтра поедem к маме?

Отец с сыном уже почти совсем подошли к машине, когда Серафим удивленно заметил, что за рулем сидит дядя Леша — муж одной из его старших сестер, — и сразу же по-мальчишески забыл, что только что задавал вопрос, повернулся, чтобы задать новый, но вдруг увидел, как отец остановился.

— Папа, почему ты остановился? Что случилось, пап? — спрашивал он, дергая его за руку.

Отец взглянул как-то необычно на сына, и только сейчас Серафим увидел, что из глаз отца текут слезы. Одна из них упала на бороду и застыла на ней небольшим кристалликом.

— Папа, не плачь, пожалуйста, мама еще слаба, но обязательно выздоровеет, помнишь, ты мне это вчера говорил? Она же выздоровеет? Серафим крепко обнял отца и сильно-сильно зажмурил глаза, зажмурил от того, что не верил в сказанное им же самим секунду назад. Не верил просто даже потому, что никогда не видел раньше плачущим своего папу.

Отец легонько отстранил сына, наклонился, а Серафим вдруг с неожиданными подробностями увидел, что папа был одет во все черное: черное пальто, черный шарф, черный костюм, черная рубашка, галстук тоже черный, правда, с небольшими красными вкрапинками. Медленно и как-то неуклюже отец снял свои большие очки в роговой оправе, вытер тыльной стороной руки глаза, посмотрел на сына и так же медленно, но четко сказал:

— Серафим, ты же уже большой мальчик. Будь мужчиной. Мамы больше с нами нет.

В машине Серафим прижался к папе, спрятался лицом в его пиджак и старался не дышать, не слышать и не видеть. Любимый и знакомый запах окружал его со всех сторон, создавая иллюзию защищенности. Он желал раствориться в нем и ни о чем не думать, но в голове как ураган вертелись назойливые мысли. То, что мамы нет, было непонятно и как-то неправдоподобно. Он вдруг вспомнил, как иногда обиженная им мама серьезно глядела на него и говорила: «Вот не станет меня, будешь ко мне на могилку приходить, хоть цветочки приноси». Серафим сразу стыдился того, что он делал, топал ногами и кричал: «Мама, ну что ты такое говоришь! Тебе не стыдно?» А она улыбалась и спрашивала в ответ: «А тебе, Серафим, не стыдно?» И Серафим вдруг явственно представлял себе, как понесет маме цветы на кладбище, и ему становилось так страшно, что он сразу понимал, как неправ, обижая маму, и бежал к ней, обнимал хрупкое тело, и просил прощения.

Тело било мелкой дрожью... хотелось плакать, но слез не было.

Под конец пути отец тихо сказал сыну: «Зайди в церковь, попрощайся с мамой, завтра похороны — будет много людей, возможности побыть с ней наедине может больше не представиться».

Дорогу до храма Серафим не помнил. Помнил только, как толкнул тяжелую кованую дверь и провалился в гудящую, вибрирующую от молитв темноту...

Серафим никогда еще не бывал в церкви ночью. Точнее, один ночью на улице он бывал, а вот чтобы в церкви, да еще ночью и почти один — такого еще не было. Он растерянно вступил за порог, забыв снять шапку и перекреститься. Полумрак от горящих свечей, притушенная люстра и монотонный тембр монаха, читающего молитвы, напугали его. Хотя ско-

рее даже не это напугало Серафима, а стоявший посередине церкви гроб, казавшийся здесь совсем не к месту.

Медленно, с опущенными вдоль тела руками Серафим пошел к гробу. Закрепленный на двух высоких тонких подставках, он как будто висел в воздухе. Каждый шаг отдавался под сводом церкви, не сочетаясь с ритмом произносимых монахом слов. В каждом шаге Серафим был неуверен. Ему казалось, что если сейчас выбежать на улицу и подумать о том, что это всего лишь страшный сон, то он проснется. Но какое-то безмолвное оцепенение сковало его тело. Ноги, налившись свинцом, двигались самостоятельно, ведя его к запредельному ужасу, в который каждый не хочет верить до самого конца.

Молитва, сливаясь с темнотой, неровным светом и густым запахом горящих трескучих свечей создавала гудящий водоворот, который затягивал Серафима в самую глубину, в центр — к гробу.

Время остановилось.

Мама была очень спокойная. Серафим никогда не видел ее такой. Она всегда что-нибудь делала, всегда была чем-то занята. Поэтому когда он взглянул на нее первый раз, то сразу же отвел взгляд — и внутри него одновременно пронеслись две мысли: «Это действительно она!» и «Как она не похожа на себя!».

Эти мысли удивили Серафима. Он стоял рядом с гробом и широко раскрытыми глазами смотрел немного в бок на одну из икон.

Так он стоял долго, собираясь с силами посмотреть еще раз.

Мама лежала с закрытыми глазами — такого странного выражения лица он тоже не помнил: расслабленные брови, гладкий без морщин лоб и бледные тонкие губы без такой привычной помады. В этот раз Серафим смотрел немного дольше. С хладнокровностью, которую он с ужасом заметил в себе, его глаза запоминали каждую деталь маминого лица.

Кто-то вдруг аккуратно стянул с него шапку. Серафим вздрогнул и обернулся. Сзади стоял священник и смотрел на него долгим, грустным, но добрым взглядом.

— Как же так, отец Сергей? — почти прошептал Серафим, как на исповеди. — Такого же просто не может быть! Отец Сергей, скажите, Бог что, разве не видел, что я... что мы... без мамы не можем жить?

— Тише, тише... конечно, видел, но — Он же мудрее нас всех. Господь видит и предвидит все, значит не случайно он забрал ее к себе. Значит, так правильно, и Он еще докажет это. Помни, Серафим: все, что ни свершается — все к лучшему... как это порой не больно принимать.

Отец Сергей протянул Серафиму шапку и добавил:

— Поцелуй маму, не бойся, она ждала тебя дольше всех.

Монах перестал читать, на его место встал другой монах. Его осветила небольшая лампа — это был старинный папин товарищ, по всей видимости, приехавший из монастыря сегодня днем.

Знакомое лицо, голос, и вот слова звучат как-то теплее, легче, может еще и из-за того, что в промежутках между не очень понятным текстом он несколько раз услышал повторяющееся имя мамы: «Человеколюбец Бог, прости Надежду и помилуй, вечные муки избави, небесному Царствию причастнику учени...».

Серафим вновь осторожно посмотрел на маму. Мама улыбалась.

Мороз по коже продрал Серафима с ног до головы. Это было так неожиданно, что он резко отпрянул от гроба и чуть не задохнулся от потери дыхания.

Но стоило ему отдалиться от мамы, как игра теней вновь сыграла с ним злую шутку: мама перестала улыбаться. Серафим в свою очередь улыбнулся и посмеялся про себя над своим испугом. Он наклонился и, аккуратно положив руки на край гроба, поцеловал маму в лоб.

Именно в тот момент, когда губы Серафима коснулись холодного мамино лба, из его глаз хлынули слезы. Просто он окончательно осознал, что больше никогда не услышит маминого голоса и никогда не ощутит под своими губами тепло ее кожи.

Серафим приподнялся и смотрел-смотрел на маму. Перед глазами все предательски расплывалось от слез, как ни старался он сдержаться. Кажалось, что он смотрит на нее сквозь толщу воды, а она где-то там, в небе, рядом с ярким светом. Серафим осторожно дотронулся до маминой руки и погладил ее. Ощущение было странно знакомым, как будто трогаешь холодную куриную ножку, но вот только этой холодной была не ножка, а мамина рука, всегда такая теплая и нежная. Серафим снова наклонился к маминой груди и, уже не сдерживая слез, вздрагивая, зашептал: «Мама, прости! Мама, вернись, пожалуйста! Пожалуйста, вернись...».

Сквозь тишину все текла и текла молитва монаха. Может именно она и успокоила его. Он вытер слезы, совсем по-домашнему поцеловал маму в щеку, повернулся и быстро направился к выходу из церкви, впервые ставшей такой неудобной.

На пороге стоял священник.

— Отец Сергей, какие молитвы нужно читать? — неожиданно размеренно и спокойно произнес Серафим, взглянув на него.

— Перед сном произноси «Господи, упокой душу новопреставленной мамы моей и даруй ей Царство Небесное» — и этого достаточно будет, ты ведь ее сын, твоя молитва слышнее всего и понятнее будет, — улыбнулся ободрительно и печально священник.

У церкви беспокойно ходил отец, заложив руки за спину. Серафим и не заметил, когда он ушел на улицу. Увидев друг друга, они не нашлись, что сказать, и, взявшись за руки, молча пошагали сквозь морозную звездность домой.

Но почти перед самой калиткой, ведущей во двор, Серафим не выдержал:

— Папа, скажи, как она погибла? — Спросил, опуская глаза, заполняющиеся слезами, почти беззвучно, вдруг опять потерял то самообладание, с которым недавно держался перед священником.

— Авария была почти около нашего дома. Фура врезалась в мамину машину сзади. Мгновенная смерть.

— Но мама... но она ведь такая «целая»...

— Да, — согласился отец. — Она не должна была погибнуть. Водительское место гарантировало жизнь даже при таких двух сильных ударах.

— Так почему же она погибла?

— Я не знаю, сынок. — Отец наклонил голову и сильно закашлялся. — Она последнее время жаловалась на то, что сильно устает. Вот, видимо, Бог ее и услышал...

Серафим отвернулся. В голове зазвучали слова священника: «Значит, так правильно, значит, так правильно, значит, так правильно...», как будто пластинка заела на одном месте и постоянно выдавала одну и ту же трель. Но сквозь эту заевшую трель он продолжал слышать, как отец рассказывал некоторые подробности.

— ...Она отвезла вас с Машей в школу и возвращалась домой. Купила вам апельсинов и печенья, любила вас так обоих...

Вдруг Серафим резко освободил руку, обернулся на освещенного уличным фонарем отца и, срывая голос до хрипоты и камушков в горле, прокричал:

— Ну так почему вы сразу не сказали мне с Машей о том, что мама погибла? Почему я об этом узнал последний? Почему не отвезли нас к ней сразу?

Отец обошел тяжело дышащего Серафима, плечом открыл примороженную калитку и, не оборачиваясь, глухо ответил:

— Прости, мы решили, что так будет лучше для вас обоих. Хотя мне казалось, что ты и сам уже обо всем догадался...

Спустя мгновение Серафим примирительно снова взял отца за руку и пожал ее.

Калитка звонко металлически стукнула. Где-то за забором щелкнул выключатель. Фонарь зашипел и погас.

Дома было людно — одни готовили еду на завтрашние поминки, а кто-то только приехал и еще не успел разместиться. Серафима, зашедшего за порог, словно обдало этим контрастом: дом по сравнению с церковью — безлюдной, но полностью заполненной искаженными вибрирующими таинственными звуками, — показался мальчику неживым и пустым, несмотря на то, что был заполнен людьми. Серафим окинул родственников и друзей, собравшихся на кухне и в зале, взглядом из-под бровей. Все, как только он появился в доме, перестали разговаривать, а некоторые стали разглядывать его таким грустным жалеющим взглядом, что у Серафима выступил холодный пот на спине. Он не узнавал родного дома: те же зажженные люстры, тот же обеденный стол, такие же картины, только вот чего-то не было. Чего-то не хватало.

Бросив у входа портфель, он вдруг заметил мамины тапочки около лестницы, ведущей на второй этаж, и перед глазами все вновь поплыло. Он поднял взгляд и увидел, что совершенно один, в каком-то чужом месте, заполненном людьми, зовущими его по имени и что-то пытающимися ему дать — или, наоборот, у него забрать. Серафим так сильно испугался картины, развернувшейся перед ним, что начал задыхаться, как будто тонул. И, ни на кого не обращая внимания, сквозь расплывающуюся и густеющую пелену, состоящую из звуков, света, чьих-то мелькающих по сторонам знакомых и незнакомых лиц и рук, он интуитивно начал прорываться к себе в комнату — теперь единственное безопасное и знакомое место на всей планете.

Забежав в комнату, Серафим сразу же закрыл дверь и, выдохнув, прижался к ней спиной.

Он хотел было включить свет, но из-за охватившего его страха, что и комната окажется незнакомой, в полной темноте, по пути рывками сорвав с себя одежду, прыгнул в кровать, свернулся под одеялом и зарылся в подушку с головой.

Через некоторое время дверь скрипнула.

— Серафим, ты спишь? Здравствуй, — он узнал голос крестной, которая тоже приехала сегодня днем. — К тебе можно?

— Да, — промычал в подушку Серафим.

Крестная подошла к кровати и села на ее краешек. Она осторожно дотронулась до мальчика и погладила по спине и голове. Женщина не

знала, как ей правильно себя вести, но ее материнское чутье не подвело; Серафим, тяжело вздрагивая телом и успокаиваясь, вздохнул и, повернув голову немного набок, спросил:

— Но ведь такого же не может случиться? Это только в снах и в книгах бывает.

— Нет, Симочка, в жизни такое происходит гораздо чаще, именно поэтому пишутся книги и снимаются фильмы, чтобы люди узнавали, как такое может случиться.

«Когда я вырасту, я обязательно напишу про это книгу», — подумал Серафим и опять тяжело вздохнул.

— Знаешь, крестная, мы сегодня были в театре, и там, на сцене, актер плакал, и у него это так натурально получалось, что некоторые мои одноклассницы тоже заплакали. А я знал, что он врет, поэтому и не плакал, хотя хотелось, очень уж грустная история была, ну и мальчик я, а нам, вроде, не полагается. — На этом месте он горестно усмехнулся повзрослому и сразу же по-детски всхлипнул вслед. Вздохнул опять и продолжил на одном дыхании:

— А сегодня, когда я увидел слезы папы, самые что ни есть настоящие, таких я никогда еще не видел раньше, мне плакать очень захотелось, но не плакалось совсем, только сделалось страшно-страшно, потому что, наверное, раз такое в жизни случается — совершенно нечаянно и случайно: живешь себе, живешь, никого не трогаешь, а потом бац — и тебя случайный человек берет и так же нечаянно, а может и не нечаянно, может, он в шутку, берет, может, может, он специально, берет и — убивает. Как жить тогда? Как жить, если любой встречный может убить? Если каждый день ты можешь умереть?

Серафим задохнулся от быстрой сбивчивой и местами нелогичной речи и замолчал, ожидая ответа первой женщины, с которой он общался после того, как убедился в том, что такое «нелогичное» действительно случается.

Крестная молчала. Она думала, как лучше ответить мальчику, который впервые, может быть, задумался о смерти и сразу же по старой русской традиции пустился анализировать произошедшее.

— Жить дальше, Сима. — Наконец ответила она ему. — Жить дальше, и верить в лучшее, и предостерегаться от таких случайностей максимально. Предостерегать и себя, и близких и постоянно помнить об этом, и напоминать всем; тогда ничего, может, и не произойдет. Но все в мире неслучайно — запомни и это, Симочка, все взаимосвязано, и без прошлого — нет будущего. Только вот жить в прошлом нельзя. Жить нужно сегодня, думая о завтра, помня вчера.

— А у тебя это получается?

— Что именно? — удивилась крестная.

— Жить сегодня, думать о завтра и помнить вчера?

— Плохо, — призналась она, — но у тех, кто живет по такому закону, все обязательно получится, поверь мне.

— Но от кирпича с крыши никто все равно не обережен.

— Если ты жить будешь в лесу и никогда больше не будешь рядом с местами, где есть крыши с кирпичами, то ты можешь быть спокоен, — тихонько рассмеялась крестная и продолжила: — Видишь, какой ты умный, сам на все ответы находишь. Ты уже совсем взрослый, папе сейчас твоя помощь очень будет нужна... А жить нужно просто даже ради того, что мама твоя всю себя в тебя, сестер твоих и папу вкладывала. И млад-

шую сестренку Машеньку не обижай. Она ведь даже и не поняла, что произошло. Крепись, Сим.

— Лаадно... — протянул засыпающий Серафим и подумал: «Завтра будет еще один день, в котором нужно жить по этим дурацким законам и случайным правилам». — Спокойной ночи, крестная, спасибо тебе, посиди рядом, ты мне совсем не мешаешь.

— Спокойной ночи, Симочка, — ласково, как только умеют матери, сказала женщина и грустно улыбнулась в темноте, украдкой утерев слезу, собрала и аккуратно сложила вещи мальчика в кресло при свете беззастенчиво пялившейся в окно луны.

Серафим держал одной рукой руку отца, а другой рукой аккуратно, чтобы никто не заметил, вытащил письмо из кармана куртки и переложил в карман брюк. «Не забыть бы!» — подумал Серафим и снова осторожно взглянул на папу. «Как-то он постарел за это время», — подумал Серафим и испугался, а вдруг и папы тоже вот так не станет.

— Пап, папа, — высокий мужчина с серебристой бородой словно оторвался от какого-то важного диалога и не сразу понял, откуда идет зов. Увидев, что это его окликает сын, блестя глазами, полными недоумения и вопроса, наклонился. А Серафим, пристав на цыпочки, прошептал на ухо: — Пап, только ты не умирай... Ладно? — прошептав это, Серафим отклонился, чтобы взглянуть в папины глаза.

А у мужчины вдруг что-то стрельнуло в спине, закололо под сердцем и так завыло пронзительно в старом рубце на левой ноге, так завыло, что только выдержка заставила его разогнуться, выпрямиться и, взглянув в ждущие ответа глаза Серафима, ободрительно улыбнуться и сказать: «Ты чего это выдумал? Мы с тобой еще таких дел наворотим вместе!»

Приобняв за плечо сына, про себя подумал: «Да, расслабляться нельзя, только постоянным графиком и работой можно вместе преодолеть эту беду. Никаких отдыхов и отпусков, они только во вред пойдут!»

Сделав про себя такой вывод, мужчина незаметно расправил опущенные плечи и крепче обнял сына.

А Серафим, словно успокоенный ответом, прижался к отцу и задумался о чем-то своем, разглядывая людей, стоящих вокруг.

Гроб с легким, вкрадчивым стуком опустился на промороженное за ночь дно могилы — и только сейчас, с этим легким стуком Серафим вдруг вспомнил, что забыл положить маме письмо в изголовье, чтобы она прочитала его и унесла с собой в последний путь.

От этой мысли у Серафима вдруг заболела голова.

«Как я мог забыть?!» — закричал внутри себя Серафим.

А когда люди вокруг начали бросать в могилу горстки замороженной земли, стучавшей по крышке с таким знакомым и уютным звуком крупного дождя в грозовую летнюю ночь, у Серафима зазвенело в ушах.

И только сейчас он неожиданно остро ощутил безвозвратность того — самого дорогого, что исчезало в земле. Он хотел было броситься к могильщикам и просить достать гроб обратно, чтобы он мог положить к маме свое письмо, но не смог, потому что как будто со стороны увидел, как это будет нелепо и глупо выглядеть, а еще подумал, что никто, конечно же, ему не разрешит. Подумав, Серафим все же решил поступить так, как ему казалось правильнее и честнее, но какой-то голос внутри него спокойно и четко сказал: «Стой!»

Крепко сжав зубы, Серафим скрипнул ими так болезненно, что в глазах потемнело. И вдруг сквозь эту боль, дробь, звон и темноту прозвучал вчерашний голос священника: «Все, что ни свершается, все к лучшему!»

И сразу же отчетливо вспомнился ночной разговор, папины глаза, профиль крестной в темноте.

Вспомнил. Выдохнул. Открыл оказывается зажмуренные глаза. С усилием выпрямил сведенные в кулаки пальцы рук, поднял взгляд на голубое-голубое без единого облачка небо — и пропали сразу все эти шумы и боли.

Серафим понял, что мама все и так видит, и нет надобности класть письмо в гроб.

Понял, но не простил себя.

Понял и тихо прошептал, глядя в прозрачную глубину морозного январского неба: «Мама, я больше никогда ничего не забуду!»